

— Батарея, подъём!

Зычный голос оставался на периферии сознания и почти не мешал разворачиваться неотчётливым, но приятным событиям. Почему-то было очень важно прояснить некое обстоятельство, и всё шло к тому, что ситуация вот-вот разрешится наилучшим образом. Но дробный перестук, напоминающий топот множества копыт, сварливо вмешивался в происходящее, не давал сосредоточиться, пока окончательно не выдернул его из глубокого, уютного, «гражданского» сна.

Реальность была отвратительна. Длинные шеренги железных двухъярусных кроватей. Узкие проходы между ними заполнены суетливыми фигурками в белых нательных рубашках и подштанниках. Тусклый свет. Тяжёлый, спёртый воздух, наполненный испарениями множества тел, с резкими нотами свежей кирзы и портянок.

Угловатые фигуры, торопливо облачаясь в зелёное, спешно выдирались из узких межкочечных пространств и, задевая друг друга и сталкиваясь, вливались в широкий, ярко освещённый центральный проход. Бледные, острые лица, торчащие уши на стриженных головах, очумелые, испуганные глаза — он в армии...

Чувство безысходности и неотвратимости происходящего глухо засело где-то глубоко внутри. Оно прищипывало, заставляя судорожно натягивать зеленовато-мышиную форму — штаны-галифе и ещё не обтёртую, ломкую гимнастёрку со множеством блестящих золотых пуговиц — на каждой пузатая латунная звезда с серпом и молотом. Толстые пуговицы не лезут в узкие, свежие прорези — чёрт с ними, потом застегнём. Теперь портянки, как их там наматывать? А ладно, сунем пока в глубокие карманы галифе, где может поместиться по тому «Войны и мира», а босые ноги — в грубые, жёсткие сапоги. Ремень в руки, и — в строй. Быстрее, быстрее. Успел!

А там что такое? К центральному проходу с межкоечной периферии вылетело огородное пугало — внизу маленький щуплый киргиз в расстёгнутой гимнастёрке и с сапогами под мышкой, на подгибающихся ногах и с диким выражением в вытаращенных, но всё равно узких глазах. На нём, то есть у него на плечах, — двухметровый эстонец Тамм, крепко вцепившийся в стриженую голову киргиза.

— Становись! — багровея лицом, ревёт старшина. — Равняйся! Смир-р-рна!

Какой там! Новобранцы продолжают лихорадочно застёгиваться, толкаясь и суетясь. Сержанты надрывают глотки и щедро раздают пинки и затрещины. И кажется, что нет ничего важнее на свете, чем вёрткая, упрямая пуговица, не желающая входить в тугую, неразработанную прорезь...

Не добежав двух шагов до строя, рухнул киргиз, а с ним вместе и угловатый, долговязый Тамм. Словно

огромное членистоногое, дробно застучал эстонец по натёртому мастикой полу своими жёсткими конечностями. Даже суровое, обветренное лицо старшины, молдаванина Визитиу, невольно разгладилось и изобразило ухмылку. Разбуженный, но не проснувшийся Тамм спрыгнул со своего второго яруса прямо на судорожно застёгивающегося Эркиенбаева, а тот, движимый лишь паническим страхом опоздать в строй, рванул к центральному проходу, не обращая внимания на свалившееся препятствие. Эта комичная ситуация спасла батарею от неминуемой расправы.

Они бегут. В строю. Как всегда. В армии всё происходит в строю. Шеренги по четыре. Впереди костлявая спина Арвидаса Петраускаса в пузырьём надутой гимнастёрке. Справа крепко сбитый Вартан Арутюнян, сзади невозмутимый Шерзод Халилов. Слева тяжело дышит и багровеет пока ещё круглым лицом Боря Груздев. Вокруг темнота и ледяной ветер. Над головой прозрачное чёрное небо и холодные равнодушные звёзды. Таких звёзд не увидишь в городе. Они яркие, и их очень-очень много. Иногда они дрожат и подмигивают. Но не тебе. А кому? Неизвестно... Они слишком холодные и равнодушные, чтобы подмигивать живому.

Спорт и физические нагрузки давно стали неотъемлемой частью его жизни. Но этот бег в строю с последующей зарядкой — ни то и ни другое. Это какое-то иррациональное, коллективное жертвоприношение злобному богу по имени Устав. Нечто напоминающее шаманский обряд с неочевидными целями. Они мёрзнут до одури. Замёрзли руки, ноги, уши, сопли в носу. Зачем? Почему? Кому

это надо? Впрочем, никого не интересовало мнение рядового Романова на этот счёт. И это первое, что он усвоил, но никак не мог внутренне согласиться: в армии есть только одно мнение — командирское. Оно же — правильное. Даже если это младший сержант Омельчук. И никого не интересует мнение нижестоящего, которое лучше всего засунуть... Ну, в общем, куда-нибудь засунуть. А он — ниже некуда... И впереди ещё два года... Как же холодно, чёрт возьми!

На память невольно приходит, как ещё совсем недавно они — группа призывников-москвичей, куда по иронии судьбы попал и он, в разношёрстной одежке, с которой не жаль распрощаться, — тряслись в пазике. Кто-то уже был стрижен наголо, кто-то — нет, но почти все с перепоя. Галдели, перекрикивая друг друга, стараясь казаться остроумными и залихватски-отчаянными. Вот уж сейчас покажем этим дедам, где раки зимуют, — пусть только сунутся... Он тоже был охвачен всеобщей эйфорией, которая замысловатым образом сочеталась с остатками тяжелейшего похмелья. Позавчера он в узком кругу отметил собственный призыв в армию. Отметил так, что отдельные события вечера только сейчас выплывают из темноты. Вот он клянётся кому-то писать каждый день, говорит, что любит и всегда любил... Вот недотрога Маринка Сергеева, которая никому не давала и, похоже, была целкой, сама положила руку, куда он и мечтать не смел. А потом её голова нырнула вниз,

и спустя непродолжительное время с ним случилось извержение вулкана!

Пазик проехал проходную, и за ними с лязгом закрылись железные ворота с красными звёздами. Все притихли. Потом они долго и бестолково строились на каком-то плацу. А потом их строем повели в баню. Раздеваясь в холодном предбаннике, они аккуратно складывали свои вещи, втайне ощупывая хитро зашитые за подкладку деньги. Как же тут холодно, чёрт возьми, скорее в баню, греться.

Опа! В большом помещении с десятком торчащих из стен душевых леек было ещё холоднее. Под окном с зачем-то открытой форточкой намело белый холмик, который не спешил таять... Голые, посиневшие, покрывшиеся гусиной кожей, они ринулись яростно крутить краники на душах, откуда тонкой струйкой потекла... холодная вода. Какое-то время они ещё метались, суется и толкаясь, но тут открылась дверь предбанника, где они оставили вещи, и оттуда как-то слаженно выскочили несколько фигур в зелёном. Эти фигуры, ловко перетянутые коричневыми ремнями с блестящими бляхами и в начищенных чёрных сапогах, дружно рассредоточились по помещению и на удивление быстро, не встречая сопротивления, словно псы овечьё стадо, вытеснили их в противоположную дверь. В этой узкой и длинной комнате на длинных же лавках лежала новенькая зелёная форма, а под лавками стояли чёрные кирзовые сапоги. Своей гражданки они больше не увидели. Тогда же Ромка понял, что физическая сила не играет в армии определяющей роли. Главное — слаженность коллективных действий и абсолютная уверенность в себе.

— Товарищ младший сержант, можно войти?

— Можно Машку за ляжку, козу — на возу! А в армии — разрешите! Повторить!

— Можно Машку за ляжку, козу — на возу! А в армии — разрешите! Разрешите войти?

— Заходите.

Младший сержант Омельчук был невероятно туп, косязычен и так же невероятно исполнителен. За это его и оставили в учебке «замком» — заместителем командира взвода. Причём именно за сочетание столь замечательных качеств. Ах да — они попали в сержантскую учебку, где из них четыре с половиной месяца будут готовить младших командиров. Таких же, как Омельчук, вероятно... Наверное, им повезло — в учебке нет и не может быть пресловутой дедовщины — они все одного призыва. Но есть кое-что похуже — старший сержант Осокин, замок первого взвода, дед, реальный хозяин батареи в отсутствие офицеров и прирождённый садист... Тот же Омельчук боится его, будто сам всё ещё курсант.

— Справа по одному строиться на улице бегом марш!

Торопливо, один за другим они выбегают и строятся на улице. Вчерашние школьники, студенты, рабочие; мальчишки из благополучных семей и отъявленная шпана; русские, узбеки, армяне, прибалты; москвичи с Петровки и обитатели высокогорных аулов — они галдят и толкаются. Каждому представляется, что он — единственный и неповторимый... И какого хрена сосед наступил на ногу?! Дать бы ему сейчас с разворота в харю! Или хотя

бы донести своё намерение... Но на улице уверенный минус, они в одних лишь гимнастёрках, и осознание собственной значимости быстро улетучивается. Пока выбегают последние из ста сорока человек, первые успевают основательно дать дуба. Появляется новое, неизведанное чувство коллективной ненависти к замыкающим, которые нежились в тепле, пока они тут стояли и ждали под пронизывающим ветром. Но и это новое чувство, не успев окрепнуть, растворяется в морозном воздухе, когда последним из казармы появляется ладный, хорошо сложенный, в безукоризненно подогнанной форме старший сержант Осокин. Холодные, с тусклым свинцовым оттенком глаза пристально осматривают замерший строй. Едва заметно раздуваются и опадают крылья тонкого хрящеватого носа. Вся эта гибкая, сильная фигура с бездушным немигающим взглядом напоминает кобру, постоянно готовую к молниеносному губительному движению.

— Отставить!

Кажется, что сам Осокин не чувствует холода вовсе.

— Две сорок одна! Не укладываемся. Будем тренироваться. Слева по одному в казарму строиться на центральном проходе бегом марш!

Почему такая несправедливость! Эти коротышки выбежали на улицу последними, а возвращаются первыми! Острая ненависть непонятным образом минует самого Осокина и проецируется на малоросликов. Ну, суки, дайте до вас добраться!

— Справа по одному строиться на улице бегом марш!

Да что ж за хрень такая! Даже не успели подуть на красные замёрзшие пальцы. Но времени на эмоции нет.

Снова бегом сквозь узкую, крашенную отвратительной жёлтой краской, всю в мелких потёках дверь. Снова светлое построение перед казармой. А между тем начинает светать.

— Равняйся! Смир-рна!

Ну слава богу! Сейчас помаршируем в столовую на завтрак. А там тепло, там еда!

— Отставить! Разговорчики в строю!

Сердце ухнуло куда-то в пустой желудок. Нет, сто сорок сердец ухнули в сто сорок пустых желудков.

— Я вас научу свободу любить! Слева по одному в казарму строиться на центральном проходе бегом марш!

Забегали, построились.

— Справа по одному, строиться на улице, бегом марш!

Выбегали деловито, молча, споро. Сознание практически не участвовало в происходящем. Окоченевшее тело тем не менее двигалось весьма проворно, никаких лишних движений. Инстинкт самосохранения подавил всякие глупые эмоции вроде ненависти к последним, старшему сержанту Осокину, Советской армии и самой социалистической родине.

— Равняйся! Смир-рна! Направо! В столовую шагом марш!

Ух ты, наконец-то! Они смогли! Теперь быстрее добраться до столовой!

— Песню запевай!

«Через две, через две весны! Через две, через две зимы! Отслужу, отслужу, как надо, и вернусь!» — вырывалось в хмуро-рассветное, невымытое ноябрьское небо.

— Стой, раз-два! Почему шаг не печатаем? Будем тренироваться! На месте шагом марш! Раз-два, раз-два!

Господи, сколько это будет продолжаться? Они маршируют на месте уже чёрт-те сколько и орут при этом песню, выпуская клубы пара в окончательно посветлевшее небо. В конце концов, завтрак положен по уставу! Будто услышал, сука! Двинулись...

— Стой, раз-два! Налево! Справа по одному в столовую бегом марш!

Ура!

— Отставить! Становись! В столовую забегаем строго по одному, а не ломимся как бараны! Будем тренироваться. Кстати, на завтрак осталось десять минут. Равняйся! Смир-рна! Для приёма пищи справа по одному в столовую бегом марш!

Ура! Вот и грубо сколоченные столы с деревянными лавками на десять человек. На столе большая кастрюля каши дробь-шестнадцать — мелко перемолотая перловка со слоем растопленного комбижира сверху в палец толщиной, алюминиевый чайник с остывшим чаем и подносы с крупно нарезанным хлебом. Но главное — две алюминиевые тарелки: на одной белый, кусковой сахар горкой, на второй — ровно десять цилиндриков сливочного масла, по двадцать граммов каждый. Должно быть по двадцать граммов...

— Отставить! Строиться на улице бегом марш!

Сука! Сука! Сука!

— Равняйся! Смир-рна! Вы чё, решили со мной в игры поиграть?! Я сказал: забегаем молча, строго по одному, не толкаясь и не обгоняя других! Ясно?! Не слышу!

— Так точно! — вразнобой отвечает строй.

— Не слышу!

— Так точно! — ревет строй так, что вороны с криком снимаются с деревьев.

— Для приёма пищи справа по одному в столовую бегом марш!

Вот и столы. В полной тишине мелькают руки. Лишь позвякивают алюминиевые миски. С небывалым проворством работают челюсти. На кашу времени нет. Первым делом одним куском заглатывается масло, потом огромный кусок белого хлеба — свежайший, выпеченный ночью в своей пекарне солдатами из хозвзвода — ничего вкуснее в своей жизни рядовой Романов ещё не ел. Точнее не глотал. Так, сахар быстро не разжевать. И хочется сунуть в карман, чтобы потом не спеша посасывать, смакуя, но нельзя — проходили... А потому быстро в чай — намочить и — в рот! Ещё кусок хлеба на пол-ломтя, может, кашу успе...

— Приём пищи закончить! Встать! Строиться на улице!

Казалось, нет силы, что выгонит их из тёплой, пахнувшей свежим хлебом столовой обратно на мороз, но вот она — стоит, пружиня с пятки на носок, и презрительно втягивает хищным носом, и молниеносно сканирует столы. И можно не сомневаться, что замешкавшийся, решивший запихнуть в рот остающуюся краюху, будет взят на заметку если не самим Осокиным, то старшим сержантом Рахмановым, тоже дедом и замком второго взвода, или тем же недотёпой, но чрезвычайно старательным недотёпой Омельчуком. И тогда случится самое изощрённое издевательство — персонально из-за него показательно будет

наказана вся батарея. Например, по дороге в казарму завернут на плац и помаршируют там минут пятнадцать. А любитель доест будет выведен из строя, чтобы все видели, кому обязаны обмороженными руками. Излишне упоминать, что после отбоя несчастному устроят тёмную...

— Становись! Равняйся! Смир-рна! Налево! В казарму шагом марш! Ать-два! Ать-два! Песню запевай!

«Через две, через две весны! Через две, через две зимы! Отслужу, отслужу, как надо, и вернусь!»

Личное время. Уставом предусмотрено личное время — целых полчаса. Рядовой Романов не мог в это поверить, когда впервые за две недели службы сидел и не спеша подшивался. То есть подшивал подворотничок — сложенный втрое лоскут белой, свежестырированной и выглаженной им же самим ткани размером с носовой платок. Подшивал мелкими, аккуратными стежками, а не как обычно перед отбоем — торопливыми, гигантскими нахлёстами. И под это умиротворяющее занятие получалось даже думать — тоже впервые за две недели. Казалось, что прошли годы, а не четырнадцать дней — так драматично поменялась его жизнь. Он впервые осознал смысл выражения «Близок локоток, а не укусишь!». Так и гражданка — вот вроде где-то совсем недалеко шумит обычная жизнь, снуют люди по своим обычным житейским делам, разговаривают, спорят, смеются. И не понимают, как они счастливы! И как счастлив был он каких-то две недели назад. Хотя тогда ему казалось, что он безнадежный неудачник и его

жизнь летит под откос. И армия представлялась идеальным выходом, и он спешил надеть форму, романтизируя армейское будущее. Об армии он судил по патриотическим фильмам про десантников и радовался, что там пригодятся его физические навыки.

Близка гражданка с её смешными, надуманными проблемами, а всё — не укусишь! Два года — нет, целая вечность отделяет его от жизни. И не понимают люди там, на воле, как не понимал этого он ещё недавно, какое это счастье — свобода! Когда просто можешь пойти, куда захочешь, присесть на лавочку, постоять под дождём, подставляя лицо холодным, крупным каплям. А потом зайти куда-нибудь и согреться. А зачем куда-нибудь, если можно зайти в булочную, купить батон с изюмом, идти по улице и есть его, улыбаясь встречным девчонкам. И съесть весь. А потом купить бутылку лимонада и выпить её всю, не отрываясь, большими жадными глотками. И весело защекочет в носу, и захочется чихнуть... Ромка почувствовал, как глаза подёрнулись какой-то влажной пеленой, он стал плохо различать стежки. Воровато оглянувшись, вытер глаза рукавом белой исподней рубахи. Ему даже не стало стыдно — так невыносимо упоительно было воспоминание — тонкая ниточка, протянувшаяся сквозь время и бетонные заборы с колючкой, соединившая его с самым дорогим, как выяснилось, что есть у человека, — со свободой. Кажалось невероятным, что ещё совсем недавно он был не бессловесным и бесправным рабом, то есть рядовым Советской армии, а студентом второго курса МГУ и перед ним открывались совсем иные перспективы...

— Романов!

— Я!

Ромка вскочил. Младший сержант Омельчук тяжело дышал и выглядел как собака, наконец-то нашедшая брошенную ей палку:

— Ты это... вот... где тебя черти носят?!

Ромка с удивлением обернулся: он сидел на табурете рядом со своей кроватью и тумбочкой, на которой висела бумажка с его фамилией. Омельчук перехватил взгляд и тоже смог убедиться, что на тумбочке чёрным по белому написано «Романов». На незамысловатом лице сержанта боролись несложные эмоции. Очень хотелось сорвать злость на рядовом за то, что он, сержант, как гончая тупо дважды обежал казарму, не догадавшись сразу проверить самое очевидное место. Но, как всегда в его случае, победила исполнительность:

— Бегом в Ленинскую комнату! Старший лейтенант Сдобнов вызывает!

Было видно, что Омельчук крайне недоумевает, зачем командиру взвода понадобился какой-то Романов. Да ещё срочно...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите войти!

— Заходи, заходи...

— Товарищ старший лейтенант, курсант Романов по вашему приказанию явился!

— Являются духи во сне. А в армии?

— Товарищ старший лейтенант, курсант Романов по вашему приказанию прибыл!

— Вольно! Проходи, присаживайся... Тебя же со второго курса МГУ призвали, экономический факультет?

— Так точно!

— Значит, в политэкономии и марксистско-ленинской философии шарить...

— Так точно! В пределах двух семестров!

— Достаточно, — лейтенант усмехнулся. — Будешь конспекты за меня писать к политзанятиям. Прямо сейчас садись и начинай. Вот темы, а то я прошлый раз пропустил, так надо нагонять. Чтоб к утру было готово — иначе замполит мне голову оторвёт, а я с тебя шкуру спущу! Всё ясно?

— Так точно! А как с вечерней поверкой быть? И после отбоя?

— На поверке быть, а после отбоя сиди и пиши сколько влезет — старшину я предупрежу... И чтоб к утру было!

— Есть!

Командир тяжело поднялся. Его мысли были уже далеко от рядового Романова, которого он, в общем-то, не считал за человека. И не потому, что старший лейтенант Сдобнов был высокомерен или обладал манией величия. Нет, нет и нет! Вся система, вся Советская Армия, все четыре миллиона человек, носящих зелёную форму, не считали Ромку за человека. Как, впрочем, и остальных «духов» и «молодых». Не он первый, не он последний. Право быть человеком надо ещё заслужить. Точнее, выслужить.

Он сидит и пишет, совершенно по-новому ощущая шариковую ручку в потемневших и огрубевших пальцах. И совсем иначе воспринимаются ленинские слова. Они будоражат мозг, впавший в спячку, заставляют шевелиться мысли, не востребованные в солдатской жизни. Увлёкшись, он на время забывает, где находится. Ленинская